

ДЕРЕВНЯ

(Рассказ)

I

Далеко в глухой сторонушке
Вырастала тонка белая береза.
Что тонка береза, кудревата,
Где не греет ее солнышко, ни месяц,
И не частые звезды усыпают;
Только крупными дождями уливает,
Еще буйными ветрами поддувает.

Русская народная песня

В одном богатом селении, весьма значительном по количеству земли и числу душ, в грязной, смрадной избе на скотном дворе у скотницы родилась дочь. Это обстоятельство, в сущности весьма незначительное, имело, однако, следствием то, что больная и хилая родильница, не быв в состоянии вынести мучений, а может быть, и просто от недостатка бабки (что очень часто случается в деревнях), испустила последний вздох вскоре после первого крика своей малютки.

Рождение девочки было ознаменовано бранью баб и новой скотницы, товарки умершей, деливших с свойственным им бескорытием обношенные, дырявые пожитки ее. Ребенок, брошенный на произвол судьбы (окружающие были заняты делом более важным), без сомнения, не замедлил бы последовать за своими родителями (и, конечно, не мог бы сделать ничего лучшего), если б одно из великодушных существ, наполнявших избу, не приняло в нем участия и не сунуло ему как-то случайно попавшийся под руку рожок. Услуга пришлась очень кстати и была, можно сказать, настоящею причиною, опре-

делившею судьбу младенца, которая до того времени весьма нерешительно колыхала его между жизнью и смертью. Дележ, совершаемый по всем законам справедливости между однокашницами бывшей скотницы, не успокоил, однако, шумного их сборища; хотя тетка Фекла и уступила скотнице Домне полосатую понёву покойницы за ее изношенные коты (главную причину криков и размирья), хотя завистливая Домна перестала кричать на Голиндуху, завладевшую повязкою и чулками умершей, но наступившая тишина продолжалась недолго и была только предвестницею новой бури.

Теперь каждая из этих достойных женщин с жаром принялись защищать права свои в рассуждении того, на чью горькую долю должен достаться ребенок, как будто назло им родившийся. Но сколько ни спорили горемычные, ничего не могли решить (чувство справедливости было в них сильно) и потому положили с общего голоса предоставить все судьбе и бросить жребий — способ, как известно, решающий в деревнях всякого рода недоразумения. Жребий, в благодарность за такое доверие, не замедлил, по обыкновению, показать собою пример безукоризненного беспристрастия и справедливости: сиротка пришлась на долю скотницы, которая, не в пример другим бабам, была наделена полдюжиною собственных своих чад.

Домна (так звали новую скотницу), хотя баба норова твердого или, лучше сказать, ничем не возмутимого, не могла, однако, вынести равнодушно определения судьбы и тут же, зная наперед, сколь бесполезно роптать на нее, внятно проголосила, что жутко будет проклятому пострелу, невесть как несправедливо навязавшемуся ей на шею.

Маленькая Акулина (таким именем окрестили малютку) сделалась на скотном дворе с первого же

дня своего существования предметом всеобщего не-расположения.

Да и какая, в самом деле, нужда была бабам знать, был ли младенец виною своей докучливости? Довольно того, что он досаждал им поминутно. «Добро бы своя была, — говорили они, — добро бы родная, а то невесть по какого лешего смотришь за нею, словно от безделья». Но хуже всего приходилось терпеть сиротке от самой скотницы. Нельзя сказать, чтоб Домна была женщина злая и жестокая; но день бывал у ней неровен: иной раз словечка поперек не скажет, что бы ни случилось; в другое время словно дурь какая найдет на нее; староста ли заругается или подерется, дело ли какое не спорится в доме — осерчает вдруг и пойдет есть и колотить сиротку. Сором таким лается на нее, что хоть вон из избы беги; все припомнит, ничего не пропустит; усопшую мать не оставит даже в покое и, при каждом ударе, такого наговорит дочери на покойницу, чего и вовсе не бывало.

Впрочем, необходимо сказать в оправдание Домны, что в грубом обхождении и побоях, которыми угощала она свою питомицу, скрывалась иногда весьма уважительная, добрая цель. В доказательство можно привести собственные слова ее. Однажды жена управляющего застала Домну на гумне в ту самую минуту, когда она безмилосердно тузила Акулю. «За что бьешь ты, дурища, девчонку?» — спросила жена управляющего. «Да вины-то за нею нету, матушка Ольга Тимофеевна, — ответила Домна, — а так, для будущности пригодится». Если найдутся люди, которые, по свойственному им человеколюбию или сострадательности, не захотят видеть в этом доброго намерения, а припишут нападки на сиротку частию жестокости скотницы, то смею уверить их, что даже и тогда нельзя вполне обвинять ее.

Страсть к «битью, подзатыльникам, пинкам, нахлобучникам, затрещинам» и вообще всяким подобным способам полирования крови не последняя страсть в простом человеке. Уж врожденная ли она или развилась чрез круговую поруку — бог ее ведает; вернее, что чрез круговую поруку...

В одном только можно было упрекнуть Домну — именно в излишнем пристрастии, которое уже чересчур ясно обнаружила она к собственным своим детям. Можно даже сказать, что слепая эта любовь часто заглушала в ней чувство справедливости и всякого рода добрые намерения, оправдывавшие почти всегда пинки и побои, которыми наделяла она сиротку. Случалось ли ребятам напроказить: разбить горшок или выпить втихомолку сливки, — разгневанная Домна накидывалась обыкновенно на Акульку, видя в ней если не виновницу, то по крайней мере главную зачинщицу; забредет ли свинья в барский палисадник, и за свинью отвечала бедняжка. Когда муж скотницы, проживавший по оброку в соседней деревне на миткалевой фабрике, возвращался домой в нетрезвом виде (что приключалось нередко), всегда почти старалась Домна натолкнуть на него сиротку, чтоб отклонить от себя и детей своих первые порывы его дурного расположения, — словом, все, что только могло случиться неприятного в домашнем быту скотного двора, — все вызывало побои на безответную Акульку. Вне этих отношений с жителями избы сиротка проводила детство свое, как и все остальные дети села, в совершенном забвении и пренебрежении. Слово «авось» играет у нас, как известно, и поныне весьма важную роль и прикладывается русским мужиком не только к собственному его житью-бытью, но даже к житью-бытью детей его. Самый нежный отец, самая заботливая мать с невыразимою беспечностью предоставляют

свое детище на волю судьбы, нисколько не думая даже о физическом развитии ребенка, которое считается у них главным и в то же время единственным, ибо ни о каком другом и мысль не заходит им в голову. Не успеет еще ребенок освободиться от пелен, как уже поручают его сестре, девчонке лет четырех или пяти, которая нянчится с ним по-своему, то есть мнет и теребит его во сколько хватает силенки, а иногда так пристукнет, что и через двадцать лет отзовется.

Мать ли плетется с коромыслом на реку стирать белье — и дочка тащится вслед за нею вместе с драгоценною своей ношею; развлеченная каким-нибудь камешком или травкою, она вдруг покидает питомца на крутом берегу или на скользком плоте... Бегут ли под вечер ребята навстречу несущемуся с поля стаду — нежная головка младенца уже непременно мелькает в резвой, шумливой толпе; когда наступает сырая холодная осень, сколько раз бедняжка, брошенный на собственный произвол, заползает на середину улицы, покрытой топкою грязью и лужами, и платится за такое удовольствие злыми недугами и смертью! А весной, когда отец и мать, поднявшись с рассветом, уходят в далекое поле на работу и оставляют его одного-одинехонького вместе с хилою и дряхлою старушонкой-бабушкой, столько же нуждающейся в присмотре, сколько и трехлетние внучата ее, — о! тогда, выскочив из избы, несется он с воплем и криком вслед за ними, мчится во всю прыть маленьких своих ножек по взбороненной пашне, по жесткому, колючему валежнику; рубашонка его разрывается на части о пни и кустарники, а он бежит, бежит, чтоб прижаться скорее к матери... и вот сбивается запыхавшийся, усталый ребенок с дороги; он со страхом озирается кругом: всюду темень лесная, все глухо, дико; а вот уже

и ночь скоро застигнет его... он мечется во все стороны и все далее и далее уходит в чащу бора, где бог весть что с ним будет... Поминутно слышишь, что там-то утонул ребенок в ушате, что тут-то забодал его бык или проехала через него отцовская телега, что сын десятского отморозил себе ногу, а трехлетняя внучка старостихи разрезала серпом щеку двухлетней сестре своей, и тому подобное.

Конечно, крестьянская натура крепка, и если ребенок уцелеет, то к зрелому возрасту он превращается почти всегда в дюжего и плечистого парня с железным здоровьем или в свежую, красную девку, во сто крат здоровее иной барышни, с колыбели воспитанной в неге и роскоши; но ведь не всякому пощастливится уцелеть: сколько их и гибнет! сколько остается на всю жизнь уродами! Трудно найти деревню, где бы не было жертвы беспечности родителей; калеки, слепые, глухие и всякие увечные и юродивые, служащие обыкновенно предметом грубых насмешек и даже общего презрения, — в деревнях сплошь да рядом! Притом между крестьянскими детьми нередко встречаются нежные натуры, которые если и выдерживают детство, зато сохраняют во всем существе своем пагубные следы его надолго — на всю жизнь.

Обремененные наследственными недугами, больные и слабые, они считаются в родной семье за лишнюю тягость и с первых лет до того дня, когда оканчивают тихое, бездейственное поприще свое на земле, в каком-нибудь темном углу избы, испытывают одно только горе, приправляемое ропотом окружающих и горьким сознанием собственной своей бесполезности.

К счастью, Акулина не принадлежала к последней категории, и Домна могла употреблять ее с поль-

зою в многочисленных занятиях скотного двора. Едва сиротке минул седьмой год, тотчас же приставила она ее смотреть за барскими гусями и утками.

II

Как чужие-то отец с матерью
Безжалостливы уродились:
Без огня у них сердце разгорается,
Без смолы у них гнев раскипается,
Насижусь-то я у них, бедная,
По конец стола дубового,
Нагляжусь-то я, наплачуся.

Русская песня

Осень. На дворе холодно; частый дождь превратил улицу в грязную лужу; густой туман затянул село, и едва виднеются сквозь мутную сквознину его ветхие лачуги и обнаженные нивы. Резкий ветер раскачивает ворота и мечет по поляне с каким-то заунывным, болезненно хватающим за сердце воем груды пожелтевших листьев. Улица пуста — ни живой души. Сизый дымок, вьющийся из низеньких труб избушек, свидетельствует, что никого нет в разброде, что все хозяева дома и расправляют на горячей печке продрогшие члены. Все живущее прячется кто куда может, лишь бы укрыться от холода и ненастья. Куры и голуби приютились на своих жердочках под навесом, завернув голову под тепленькое крылышко; воробей забился в мягкое гнездо свое; даже неугомонные шавки и жучки комком свернулись под телегами. Каждому готов приют, каждому и хорошо, и тепло...

Изба скотницы Домны жарко-нажарко натоплена; вся семья дома; даже теленок, которого откармливают для барского стола, привязан заботливою Домною к печке и опустился на мокрую свою соло-

му. Двое парнишек ее вместе с бабушкою и любимую кошкою давно забрались на полаты. Другие два шумно возятся под лавками. Дождь стучит в узкие стекла окон, ветер свищет на дворе и улице, и по временам все стихает в избе, прислушиваясь к дребезжащему, протяжному вою. Одной только Акули что-то не видно: ее послали на реку стеречь уток.

Возвращается она наконец к обеду домой. Издали виднеется ей почерневшая от воды лачуга, но сиротка не спешит укрыться от холода под теплую ее кровлю; она со страхом и смущением приближается к ней. Дело в том, что одного утенка унесло течением реки в колесо мельницы.

Между тем, как подходила она к дому, на скотном дворе как нарочно затеялся жаркий спор между Домною и Голиндухою. Здесь дело было уже вот в чем: кто-то из ребят скотницы стянул лапоть Голиндухи, прислоненный к печке для просушки, и, привязав к нему бечевку, стал возить его по полу. Голиндуха, занимавшаяся в то время выпариванием квасной кадушки, неоднократно кричала на ребенка, приказывая ему тотчас же поставить обувь на прежнее место; ребенок не слушался и, как бы назло, начал колотить лаптем во все углы избы. Выведенная наконец из терпения баба бросила работу, отвесила озорнику добрую затрещину и, вырвав обувь, положила ее на печку.

Домна, все видевшая и еще прежде чем-то раздосадованная, не вынесла выходки Голиндухи.

— Куда лапоть-то поганый свой ставишь? — сказала она, выглянув вдруг из-за перегородки, — места ему небось нету?.. Эка нашлась какая прыткая... словно барыня — драться еще вздумала...

— А что, невидаль, что ли, какая?.. барские дети-то твои, что ль? Вестимо, бить стану, коли балуются...

— А ну-тка сунься...
— Тебя небось послушалась?..
— Ах ты, собака этакая...
— Сама съешь...
— Чтоб тебе подавиться лаптями-то...
— Эй, Домна, не доводи до греха; у тебя уста,
у меня другие.

— Плевать мне... А вот только тронь еще раз Ванюшку, так посмотришь...

— Да ты в самом-то деле, что ты тычешь мне своими ребятами-то?..

— А ты что?..

— Да...

— Побирушка проклятая!.. и мать-то твоя чужой хлеб весь век ела, да и тебя-то Христа ради кормят, да еще артачится, да туда же лезет... Ах ты, пес бездомный! ну-ткась, сунься, тронь, тронь...

Домна и Голиндуха с раскрасневшимися лицами, вылупившимися глазами и поднятыми кулаками подступали уже друг к другу, когда в избу вбежала вдруг Машка, старшая дочь скотницы.

— Мамка! мамка! — голосила девочка, — глядь, глядь... Акулька-то одного утенка загнала... одного утенка нетути.

— Как! — вскричала исступленная Домна, мгновенно обращая свою ярость на только что вошедшую сиротку. — Ах ты, проклятая! случилось, тебе неслюбно смотреть за ними?.. Постой, вот я те поразогрею...

И она пошла на помертвевшую от страха девчонку с готовыми кулаками.

Страх, в котором держала скотница свою питомицу, часто даже исчезал в ребенке от избытка горя. Так случалось почти всякий раз, когда Домна, смягчившись после взрыва необузданной ярости, начинала ласкать и нежить собственных детей своих.

Громко раздавались тогда за печуркою рыдания и всхлипывания одинокой, брошенной девочки...

Много слез и горя стоило также Акулине новое назначение, определенное ей скотницею. Выгоняя утром гусиное стадо, проходила ли она по улице — всюду встречались веселые ребяташки, беззаботно игравшие под навесами и на дороге, всюду слышались их веселые песни, крики; одна она должна была проходить мимо, не смея присоединиться к ним и разделить общую радость. А уж как страшно-то было ей, боязливой девочке, напуганной разными дивами, проводить целые дни одной-одинешенькой, далеко от села, в каком-нибудь глухом болоте или темном лесу! В первое время она часто не могла вынести своего одиночества и, бросив тут же гусиное стадо свое, возвращалась одна на скотный двор, по забывая и побои скотницы, и все, что могло ожидать ее за такой своевольный поступок.

Кроме этого, сколько приходилось терпеть безответному ребенку в самом доме! Вернется, бывало, вместе со стадом в избу — на дворе стужа смертная, вся она окоченела от холода, — ноги едва движутся; рубашонка забрызгана сверху донизу грязью и еле-еле держится на посиневших плечах; есть хочется; чем бы скорее пообедать, закутаться да на печку, а тут как раз подвернется Домна, разгневанная каким-нибудь побочным обстоятельством, снова ушлет ее, куда вздумается, или наконец бросит ей в сердцах кусок хлеба, тогда как другие все, спустившись с полатей, располагаются вокруг стола с дымящимися щами и кашею.

Забьется Акуля в любимый уголок свой у печки, между лукошками и сором, закроет личико исхудавшими пальчиками и тихо, тихо плачет. Но прошел год, другой, и свыклась Акулька со своей тяжкою долею. Какое-то даже радостное чувство наполняло

грудь девочки, когда, встав вместе с зарею, раным-рано, вооружась хворостиною, выгоняла она за околицу свое стадо. Теперь, уже не ожидая намека, спешила она убраться со своими гусями и утками в поле, лишь бы только скорее вырваться из избы. Как птичка встрепетает она тогда; все изменялось в ней; движения делались развязнее, стан выпрямлялся, — словом, трудно было узнать в сиротке одну и ту же девочку. Робкий и жалкий вид, так резко отличавший ее дома от прочих детей, как бы мгновенно исчезал. Бывало даже, на Акулю находил в эти минуты вдруг какой-то припадок веселости, резвости.

Она особенно любила загонять свое стадо в густую осиновую рощу, находящуюся почти на самой границе земель, принадлежащих селу. Ей невыразимо легко, весело, привольно было просиживать тут с утра до вечера. Тут только запуганный, забитый ребенок чувствовал себя на свободе.

Перед нею широко стлался зеленый луг; медленно и плавно расхаживали по нем белые как снег гуся; селезни и пестрые утки, подвернув голову под сизое крылышко, лежали там и сям неподвижными группами. Далее сверкала река со своими обрывистыми берегами, обросшими лопухом и кустарниками, из которых местами выбивались длинные, сухие стебли дикого щавеля и торчали фиолетовые верхушки колючего репейника. За рекою виднелось черное, взбороненное поле; далее, вправо, местность подымалась горою. По главным ее отлогостям, изрезанным промоинами и проточинами, разрастался постепенно все выше и выше сосновый лесок; местами рыжее, высохшее дерево, вырванное с корнем весеннею водою, перекидывалось через овраг висячим мостом. Влево тянулось пространное болото; камыш, кочки и черные кустарники покрывали его

на всем протяжении; по временам целые вереницы диких уток с криком поднимались из густой травы и носились над водою. Там и сям синевшая холмистая даль перемежалась снова серебристыми блестящими реки.

Бесконечная сереющая даль, в которой двигались почти незаметными точками телега или спутанная лошадь, постепенно синела, синела, и наконец все более и более суживавшиеся планы ее сливались мутною линиею со сквознотою голубого неба.

Но природа нимало не пленяла деревенской девочки; неведомо приятное чувство, под влиянием которого находилась она, было в ней совершенно безотчетно. Случайно ли избрала она себе эту точку зрения, лучшую по всей окрестности, или инстинктивно почувствовала обаятельную ее прелесть — неизвестно; дело в том, что она постоянно просиживала тут с рассвета до зари.

Разве выводили ее из раздумья однообразное кукованье кукушки, крик иволги или коршун, который, распластав широкие крылья свои, вдруг, откуда ни возмись, кружась и вертясь, появлялся над испуганным ее стадом. Акуля вскакивала тогда, бледное личико ее покрывалось ярким румянцем; она начинала бегать и суетиться, хмурила сердито узенькие свои брови и, размахивая по сторонам длинною хворостиною, казалось, готовилась с самоотвержением защищать слабых своих питомцев.

Наступал вечер. Поля, лощина, луг, обращенные росой и туманом в бесконечные озера, мало-помалу исчезали во мгле ночи; звезды острым своим блеском отражались в почерневшей реке, сосновый лес умолкал, наступала мертвая тишина, и Акуля снова направлялась к околице, следя с какою-то неребьяческою грустью за стаями галок, несшихся на ночлег в теплые родные гнезда.

С возрастом, по мере того как сиротка становилась разумнее, постоянное это одиночество обратилось не только в привычку, но сделалось для нее потребностью. Оно было единственным средством, избавлявшим ее от побоев скотницы и толчков встречного и поперечного. Всеобщее отчуждение, которое испытывала она со стороны окружающих, как круглая сирота, и которое с некоторых пор как-то особенно тяготило ее, также немало способствовало подобному расположению.

III

Вьюги зимние,
Вьюги шумные
Напевали нам
Песни чудные!

Наводили сны,
Сны волшебные,
Уносили в край
Заколдованный!

Кольцов

Постоянное отдаление Акули от жителей скотного двора и одинокая жизнь производили на ее детство сильное влияние. Прежде еще, когда неотлучно оставалась она при людях, приластится, бывало, к тому, к другому или вымолвит ласковое слово, невзирая на толчки, которыми часто отвечали ей на ласки; теперь же едва успеет вернуться с поля, как тотчас забьется в самый темный угол, молчит, не шевельнется даже, боясь обратить на себя внимание. Каждый раз, когда достойные всякого сострадания гуси, продрогнув от холода, располагали идти восвояси, а следовательно, доставляли и сиротке случай погреться, она входила в избу с каким-

то страхом, смущением, трепетом — чувствами, проявлявшимися прежде не иначе как вследствие приключившегося с нею несчастья.

Ребенок одичал наконец до того, что раз, без особенной причины, целые трое суток кряду не возвращался домой со своим стадом; голод только мог вынудить его покинуть поля и рощу.

Первое зазимье и морозы возвращали, однако, волею-неволею полуодичалую сиротку на скотный двор.

В это время года, когда все, от мала до велика, не исключая даже домашних животных, столпляются вместе под одною и тою же кровлею, — она снова сближалась несколько с семейством скотницы.

Зимою образ жизни в избе как-то всегда собирает разбредшихся поселян воедино.

Многочисленность семьи, тесное, неудобное помещение, работа, делающаяся в эту пору более общою, домашнею, — все это, вынуждая каждого входить теснее в отношения другого, невольно сродняет их между собою.

Хотя Акуля действительно сблизилась зимою с жителями скотного двора, однако сближение это у ней было более внешнее, нежели нравственное.

Робкий и тихий нрав девочки, притом постоянно грубое обхождение, которому она подвергалась, — все это должно было отталкивать ее от задушевных с ними сношений.

Одни рассказы и каляканье, на которые год тому назад не обращала она ни малейшего внимания и которые теперь, с двенадцатилетним возрастом, как-то особенно начали возбуждать любопытство, присоединяли иногда ее к общему кругу.

В длинные зимние вечера изба скотницы Домны, как почетной гражданки села, наполнялась со-

седками и кумушками, заходившими покалякать о том о сем, о делах того или другого.

Усядутся, бывало, в кружок, кто на лавке, кто попросту наземь, каждая с каким-нибудь делом, прялкою, гребнем или коклюшками, и пойдут и пойдут точить лясы да баить про иное, бывалое время.

Сначала все сидят молча — никто не решается перекинуться словом. В избе стихнет. Веретена гудят, трещит лучина, сверчок скрипит за подполицею, или тишина прерывается плачем которого-нибудь из малолетних ребят скотницы, проснувшегося внезапно на полатах от тяжкого сновидения.

Но потом мало-помалу гости оживляются, все в избе принимает участие в рассказах, и каждый в свою очередь старается вставить красное словцо. Даже девяностолетняя мать Домны изменяет вечно лежачему своему положению и, свесясь с печки, прислушивается одним ухом к диковинным рассказам соседок.

Чем далее, тем речи становятся бойчее и бойчее. То Кондратьевна, старуха бывалая, слывшая в деревне лекаркою и исходившая на веку своем много — в Киев на богомолье и в разные другие города, — приковывает внимание слушателей; то тетка Арина, баба также не менее прыткая и которая, как говорили ее товарки, «из семи печей хлеба едала», строчит сказку свою узорчатую; то, наконец, громкий, оглушающий хохот раздается вслед за прибаутками другой, не менее торопливой кумы. Много разных разностей говорилось на засидках у Домны. Бабий язык, как известно, и смирно лежит, а уж как пойдет вертеться, как придет ему пора, — так что твои три топора — и рубит, и колет, и лыки дерет! Примерно, хоть тетка Арина, уж как начнет раздобаривать, так нагородит такого, что и ввек речи ее в забыть нейдут. Иной раз так настрашает, что все

только и знают — крестятся да исподлобья на стороны поглядывают; про девок и говорить нечего: мертвецы мертвецами сидят — хоть в гроб клади! Куда мастерица была всякое диво размазать. Да вот, раз речь зашла о том, что значит в добрый час молвить, а что в худой; так она такое приплела, что сколько ни слушало народу — так вот и повскакало с лавок.

— Вот, — говорит, — бывают такие неразумные бабы из нашего брата, что за пустое корят да хают детей своих самыми недобрыми словами, «анафема» скажут, или «провались ты», или «возьми тебя нечистый». Оно кажется — ничего, ан глядь — и во вред ребенку ложится такое злое слово; долго ли накликать беду!

Так-то прилучилось у нас с Дарьей, снохою Григорья. Пришла она с поля, сердечная; устамши, что ли, была или другое что, Господь ее ведает, только и завалилась она прямо на полати. Мальчишка-то у ней дома в люльке лежал; вот, как словно назло, расплакался на ту пору. Зачала Дарья унимать его. Унимала, унимала — нет, ревет себе знай; куда осерчала наша Дарья; встать, вестимо, не хочется — поясницу больно поразломило, — тут недобрый стих и найди на нее. «Непутный, — говорит, — возьми тебя нечистая сила». Парнишка как будто к слову такому вдруг и затих; Дарья обрадовалась, повернулась на другой бок, подкинула под себя мужнину овчину да и завалилась спать. И молитвы даже не сотворила она над младенцем после такого слова — уж так, верно, дрема взяла ее, сердечную.

А слово-то, видно, сказано было не в добрый час.

Спит Дарья. Вдруг стало ей что-то неладно; так вот к самому сердцу и подступает, инда в пот кинуло. Она обернулась от стены к люльке, взглянула вполглаза на ребенка — смотрит... подполица рас-

ступилась надвое, и, отколь ни возьмись, выходит большущая женщина, вся в белом закутана... вышла да прямо к люльке, и протягивает руки к парнишке, норовит взять его...

Дарья испугалась, не знать куда и сон девался; и вскрикнуть-то ей хочется, не может, вся словно окоченела; а белая женщина все ближе да ближе протягивает руки... видит Дарья, что достала она парнишку-то, да и взяла к себе на руки...

Месяц в ту пору вышел и светит к ней в избу — словно днем, — видным-виднешенько.

Вспомнила Дарья свой великий грех; так в голове все и завозилось у ней; как взвизгнет!.. Враг его знает, как это сталося, — все сгнуло разом; Дарья вскочила с полатей да прямо к люльке; глядь — а парнишка-то лежит себе мертвешенек; головка просунута в веревку, на которой висит люлька, и ручонками-то ухватился за нее; весь посинел — знать уж нечистая сила больно вздосадовала на Дарью, да и удавила его. Вздули лучину, — и так и сяк, и туда и сюда, и отец-то прибежал, и все-то в доме, кто был, подскочили, — нет, ничем не помогли. Как ни убивалася Дарья, да, видно, не на шутку стрянулось на нее горе — пришлось хоронить парнишку!

Акуля более всего напрягала внимание, когда речь заходила о том, каким образом умерла у них в селе Мавра, жена бывшего пьяницы-пономаря, — повествование, без которого не проходила ни одна засидка и которое тем более возбуждало любопытство сиротки, что сама она не раз видела пономариху в поле и встречалась прежде с нею часто на улице. Кончину Мавры объясняли следующим образом:

Однажды пономариха отправилась было за грибами в дремучий бор (которого, между прочим, во все и не было в селе или окрестностях). Не успела

она поднять трех рыжиков, вдруг слышится ей, что кто-то перекликается между деревьями. Вот она и стала прислушиваться: все словно как будто опять стихло, лист не шелыхался. Мавра снова стала искать грибы, набрала их без малого до верху котомки да и идет на дорогу, чтоб скорее к дому; ан не тут-то было. Леший и перекинсь ей поперек пути... Ходила, ходила пономариха, плутала, плутала: куда ни ступит, куст да трава, а проселка-то и не видать, словно сгинул; а ауканье-то в лесу все сильнее да сильнее... Что далее было, то неведомо; а вот на другой день раным-рано, с рассветом, Гаврюшка-конторщик, возвращаясь из города с барскими письмами, видит — на самой меже белеется что-то: пень не пень, камень не камень; глядь, ан Мавра-то и лежит навзничь; и руки посинели, и тело-то все избито, и понёва разодрана... Думал, думал Гаврюшка, да делать, видно, нечего было; не оставить же так тела христианского на съеденье волкам: он взвалил его на телегу, да и привез в село прямо к мужу. Мавра очнулась только к вечеру, да будто язык у нее отнялся, слова не молвит. Пономарь был в ту пору буйный, навеселе: давай выпытывать по-свойски жену. Уж он ее колотил, колотил, бил, бил, куда ни попало, в голову, и в грудь, и в спину, лишь бы не мимо; Мавра все ни гугу; а на третий-то день, глядь, и душу отдала — померла, родимая; знать, уж так суждено ей было, сердечной, али сама в чем виновата была, что подпустила к себе нечистую силу. Вестимо, коли душа чиста, так и злой дух тебя не тронет.

Далее словоохотливая рассказчица распространялась обыкновенно о том, как вообще мертвецы ненавидят живых людей за то, что последние остаются на земле как бы взамен их и пользуются всеми

мирскими благами и удовольствиями. Она присо-вокупляла тут же в доказательство справедливости слов своих, что всем известный кузнец Дрон вскоре после смерти стал являться в селе, пугал всех и что кума Татьяна сама, своими глазами, видела его раз за барским овином.

Акулина притаивала дыхание, и сердце ее стучало сильно-сильно, когда Кондратьевна, старая лекарка, подтверждала все это, уверяя даже, что Дрон, злобствовавший на нее еще при жизни, действительно являлся в селе, бывал у ней в избе, переходил из окна в окно, из ворот в ворота, шарил по всем углам и аккуратно выпивал у ней каждую ночь в погребке сливки. Она рассказала, что вскоре после того, как пали у нее две коровы, рыжонка и белянка, кузнец Дрон перестал таскаться по деревне, и объясняла чудо тем, что брат тогдашнего старосты, Силантий, раздосадованный, вероятно, ночными проказами кузнеца и желая вконец отвести беду, раскопал его могилу, положил тело грешника ничком и вбил ему в спину длинный-предлинный осиновый кол.

Слушая все эти чудеса, Акуля едва от страха переводила дух; то замирало в ней сердце, то билось сильно, и не раз в вечер личико ее покрывалось холодным потом. По временам ослабевавший свет лучины вдруг угасал от невнимания присутствующих, развлекаемых интересными повествованиями и рассказами, и тогда бедному ребенку казалось, что вот-вот выглядывает из-за печурки домовой, или, как называют его в простонародье, «хозяин», или всматривается в нее огненными глазами какое-то рогатое, безобразное чудовище; все в избе принимало в глазах ее страшные образы, пробуждавшие в ней дрожь. Засидки баб длились иногда за полночь. Истомленная Акуля, несмотря на возрастающее любопытство

и усилия избавиться от дремоты, более и более покорялась, однако, ее влиянию; русая головка ее медленно склонялась на плечо, глаза смыкались, и она засыпала наконец крепким сном. Часто слух ее как будто прояснялся, между тем как вся она оставалась в том расслабленном состоянии, похожем на летаргию, и внятно слышались ей тогда отрывистые речи гостей скотницы, долго еще за полночь толковавших о деяниях одноглазого лешего, чужого домового, моргуньи-русалки, ведьмы киевской и сестры ее муромской, Бабы-яги костяной ноги и птицы-гаганы...

Все эти диковины, которые с таким любопытством выслушивала Акуля в продолжение зимы, сильно распяляли ее воображение. Но робкий нрав ребенка, притом всегдашний гнет, под влиянием которого находился он, и вдобавок грубые насмешки, с которыми встречены первые его попытки высказать окружающим все, что лежало на сердце, невольно заставили его хоронить в себе самом свои впечатления и не выбрасывать их наружу. Такое сосредоточивание в себе своих мыслей и ощущений, какого бы ни были они свойства, должно было развить рассудок девочки несравненно скорее, нежели бы это могло случиться при других обстоятельствах. Впрочем, в жизни сиротки являлись случаи, когда она разом высказывала все, что по целым месяцам малопомалу накоплялось в голове ее. Это бывало не иначе, однако, как когда удавалось ей попасть в кружок людей совершенно сторонних, не принадлежащих даже к вотчине.

Калики и побирušки переходящие, заносимые иногда бог знает каким ветром в их деревню, чаще всего доставляли Акуле подобные случаи.

Когда две или три такие старушонки, преследуемые с остервенением по всей улице воем и лаем со-

бак, останавливались перед окнами скотного двора, затягивая тощим голосом обычную свою стихеру:

Семь, семь кралей,
Семь кесарей
Пошли, пришли поклониться
Христу-Спасителю...
Подайте, отцы родные, милостинку
Во имя Христово... —

Акуле уже не сиделось на месте, так ее и подмывало. Всегда почти находила она случай выбежать вон из избы. Она пряталась сначала в куриный хлев, чтоб отстранить подозрения скотницы, потом потихоньку проползала в узкое отверстие между плетнем и землею и вырывалась на свободу. Она пускалась тогда во всю прыть по задним дворам, перескакивала гряды капусты и огурцов, огибала огороды, господскую ригу и наконец вся впопыхах останавливалась за околицею. Тут Акуля, прислонившись к старой высокой рябине, с трепетом ожидала минуты, когда нищенки выйдут из села. Осмотревшись кругом и убедившись, что никто не следует за нею, решалась она присоединиться к ним. Тогда между каликами и Акулею завязывался разговор. Те, как водится, начинали с расспросов о том, есть ли в селе барин, строг ли с мужиками, есть ли барыня и барчонки, о том, кто староста, стар ли, молод ли он; потом мало-помалу объясняли Акуле, что вот-де они ходят из села в село, собирают хлебец да копеечки во имя Христово, заходят в монастыри, бывают далече, в Киеве и Иерусалиме, на богомолье, и что, наконец, жутко приходится им иногда жить на белом свете. Акуля внимательно следила за каждым словом старушек: ей так редко удавалось слышать ласковую речь! И вот, обрадовавшись случаю, она расспрашивала их и о Иерусалиме, и о городах, и о том, так ли живут там, как в селе, есть ли также

церковь и будет ли она в вышину равняться с большим вязом, разросшимся вон там, далече-далече у них на погосте, и т. д. Расспросам не было конца.

Сиротка вспомнила наконец, что зашла далеко; села не было видно; побои и ругательства тотчас же мелькали в голове ее. Скрепив сердце она прощалась со своими спутницами и снова пускалась во всю прыть по дороге. Между тем сколько новых впечатлений волновали душу бедного ребенка! Как часто останавливалась она в нерешимости, сама не зная, бежать ли ей вперед, к дому, или назад вернуться и не разлучаться более с добрыми каликами переходжими... Но страх брал обыкновенно верх, и сиротка принималась снова бежать к старой рябине, осенявшей околицу села.

Трудно сказать, о чем могла думать тогда деревенская девочка, но дело, однако, в том, что при постоянном одиночестве и самозабвении рассудок ее не мог никоим образом оставаться в совершенном бездействии...

IV

Так и рвется душа
Из груди молодой!
Хочет воли она,
Хочет жизни другой!

Кольцов

Муж Домны, являвшийся домой только по праздникам, неизвестно отчего оставил вдруг миткалевую фабрику, на которой работал несколько лет сряду, и переселился с своим станом к жене на скотный двор.

Обстоятельство это сильно озадачило Домну: она предвидела все хлопоты и заботы, которые упадут на нее с такою переменою.

Карп начал с того, что потребовал себе помощницу; потом, волею-неволею, должны были уступить ему чуть ли не половину избы, без того уже загроможденную корчагами, лагунами, крынками, кадками и лукошками; далее, предчувствия Домны также не обманули ее: Карп на следующий же день натянулся сивухи, должно быть припасенной им заранее, и задал таску всем, кто только попадался ему на глаза: досталось и самой хозяйке дома. А отводить беду, избежать всех этих неприятностей не было возможности, ибо, как выражалась сама скотница, Карп не терпел ни в чем супротивности. «Ладно, — говорила она бабам, упрекавшим ее в слабости, — поди-тка сунься перечить ему, так, кажись, только и жил; закажу другу-недругу». Домна не упала, однако, духом; она как можно скорее, чтоб только усадить мужа за работу, назначила ему помощницу. Такая завидная доля, разумеется, могла пасть не иначе как на Акулину, девку самую безответную, смирную и притом более других приученную к повиновению.

Карп был мужик крутой и несговорчивый. Некоторые барыши, получаемые им сверх оброка, и разгульная фабричная жизнь сделали из него, особенно в последнее время, горького пьяницу и еще более расположили к буйству. И трезвый-то никому добром не промолвит — лает, словно собака, а как почнет пить — так лучше беги из дому вон. Сам сознавался Карп, что бывал во хмелю куда неугомонен. Уж чего ни делали с ним: и знахаря-то призывали заговорить его против хмеля, и Кондратьевна не раз изощряла свои знания в лекарском деле, и управляющий секал Карпа, больно секал, — нет, встряхнет, бывало, Карп забубенною, непутною своей головушкой, когда окончится экзекуция, да вымолвит: «Покорно благодарю, Андрей Андреевич, что дура-

ка учить изволите», — и снова принимается за ко-
сушку. Ничто не помогало!

С первых же дней житья от него в доме не стало; заходит ли кто из соседей или соседок в избу — подымались брань, ссоры, нередко кончавшиеся даже дракой, так что вскоре никто и не стал заглядывать к скотнице. Сама она, подверженная беспрерывно буйным выходкам мужа, сделалась как-то еще сварливее, заносчивее и с бóльшим еще остервенением взъелась на все окружающее.

Трудно выразить отчаяние горемычной сиротки; новое назначение не только лишало ее свободы, но даже неотлучно подчиняло Карпу, к которому еще сызмала чувствовала она особенный страх.

Вначале старалась она всеми силами угождать ему; но усердие ее оставалось решительно незамеченным. Иногда без всякой причины (и это случалось всего чаще) приходилось терпеть; нитка ли порвется, защемит ли Карп челноком палец или просто случится повздорить ему с женою — колотит ее, благо она под рукою! Молча покорилась наконец бедная девушка горькой своей участи. Прошло несколько месяцев, и Акулина, как бы накануне своего заточения, не переставала тосковать по прежней своей беззаботной одинокой жизни. С наступлением лета изба и ее жители становились сиротке еще нестерпимее. Все оживало вокруг нее, все как будто радовалось. Едва заблистают первые лучи солнца в окнах избы, зазолотятся свежие, подернутые росой поля и раздастся звонкое чиликанье воробьев на кровле, все, от мала до велика, спешили вырваться из душной избы. Бабы шли в огороды, ребята и девки целыми ватагами отправлялись в только что опушившийся лес за первыми ягодами — одна она не смела шевельнуться с места и должна была сид-

нем сидеть за пряжею и шпулями. К вечеру или обеду вернутся веселые толпы на дом, натащат полную избу венков да молодых ветвей; разольется по всей избе запах свежей зелени... Сколько грусти ложилось тогда на душу сиротки, сколько тайных, никому не известных страданий теснило ее, бедную!..

Иногда удавалось Акулине вырваться под каким-нибудь предлогом на минуту из дому; не нарадуется, бывало, своему счастью, не утерпит — выбежит за ворота, и грусть как бы исчезнет, и тоска сойдет с сердца.

И вправду, хорош и упоителен божий день в ведреное, теплое лето; какое ликование во всей природе, во всем мире! все трепещет жизнью, все проникнуто ею; каждая травка, каждое растение издает какой-то шелест, сливающийся в стройную, нежную гармонию; все, на что устремляются взоры, наполняет душу радостным, непостижимо-прекрасным чувством. С жадностью вдыхала Акулина в расширяющуюся грудь свою пахучие струи воздуха, приносимые с поля; всматривалась она тогда в зеленющий луг, забрызганный пестрыми цветами, в эту рощу, где беззаботно, счастливо даже, просиживала она когда-то по целым дням, с красной утренней зарей до минуты, когда последние бледные лучи заходящего солнца исчезали за сельским погостом. Но непродолжительны были такие минуты: как раз грубый голос Карпа возвращал ее к горькой действительности. Скрепя сердце подходила она к воротам; а между тем вдалеке, по улице, с веселыми песнями и кликами неслись купаться целые рои молодых девок: все, кто только был молод из них по деревне, спешили присоединиться к веселой толпе, и одна только Акулина-сиротинка утирала слезу да спешила запереть за собою дверь тесной, душной лачуги...

Бывают случаи в жизни человека, — к какому бы ни принадлежал он классу общества, — которые хотя и кажутся с первого взгляда ничтожными, не стоящими внимания, но со всем тем они часто решают судьбу его или же производят в нем сильные перевероты нравственные. Иногда так нечувствительно бывает их действие, что само лицо, на которое они стряхиваются, не замечает его.

Раз как-то (это было в самую страдную пору лета) бóльшая часть жителей села Кузьминского отправилась в соседнюю деревню праздновать, как водится между соседями, приходский праздник. На всем скотном дворе осталась одна только Акулина. День был невыносимо зноен; душно было ей сидеть под навесами, и она вышла за ворота. Деревня словно вымерла, все было тихо, нигде живой души. Акулина перелезла чрез околицу и почти машинально своротила на проселок, огибавший бесконечное поле ржи, только что золотившейся от цвета. Солнце горело высоко и знойно. Пот градом катился по исхудавшим щекам сиротки, а между тем она все шла да шла вперед, влекомая каким-то странным чувством. В поле, в роще, в воздухе царствовало безмолвие; ничто не шелыхалось, не отзывалось жизнью; кузнечик приутих и не трещал в тесной траве; даже гибкие, длинные стебли дикого чеснока с их тучною верхушкою стояли неподвижно на окраине дороги. Густой пар подымался от земли и растений, и душно было в переливающихся струях воздуха.

Акулина миновала поле и почти незаметно очутилась близ церкви, на погосте. Вырытая свежая яма, на которую она случайно набрела, вывела ее из раздумья. Дрожь пробежала по всем членам сиротки; ей стало страшно; безотчетное чувство, которо-

го, впрочем, никак, никогда не могла она победить в себе, обдало ее холодом. Акулина бросилась бежать. Она уже была на самом почти конце кладбища, и вдруг как вкопанная остановилась перед одною заросшею могилкою, едва выглядывавшею из-за плетня, ограждавшего церковь. Акулина вспомнила, что давно, много лет назад, на Фоминой неделе, во время поминок кто-то сказал ей, что тут погребена ее мать.

Была ли она задолго еще перед тем под влиянием грустного чувства, тяготило ли ее более чем когда-нибудь одиночество, или была другая какая причина, но только вся жизнь, все горести, вся судьба ее прояснились, пробудились и разом отозвались в ее сердце; в эту минуту с мыслию о матери как бы впервые сознала она всю горечь тяжелой своей доли. Она долго стояла в каком-то оцепенении; слезы ручьями текли по бледным щекам ее и капали на руки, на грудь, на рубашку... Наконец горе Акулины разразилось и как бы сломило ее... болезненное рыдание вырвалось из груди; она грохнулась грудью на тощую могилку и, судорожно обхватив ее руками, осталась на ней без движения...

Вечерело. Домна вместе с ребятами и работниками возвратилась домой после соседней пирушки. Входя в избу, крайне удивлены были они, не видя Акулины, ибо ни на дворе, ни подле амбаров, ни даже под навесами ее также не встречали. Изба была пуста. Только куры, как видно уже влетевшие давно в растворенные настежь двери, бегали по столам и лавкам. Скотница и работницы начали шарить по всем углам избы, как вдруг совершенно неожиданно услышали за печкою вздохи. Домна взгромоздилась на ушат и чуть не вскрикнула от изумления.

Акулина, закутав голову овчинным тулупом и как-то сверхъестественно скомкавшись, лежала навзничь в тесном, неуклюжем углу между печкою и стеною. Это обстоятельство тем более удивило Домну, что никогда не случилось ей видеть, чтоб с сироткою было что-нибудь подобное.

Скотница подошла ближе и стала толкать ее что есть мочи. Ее старания оставались, однако, без всякого действия. Удивление присутствующих возрасало с каждою минутой. Домна, выведенная наконец из терпения, вытащила Акулину на середину пола, прислонила ее к скамье и раскутала ей голову.

— Что буркулы-то выпучила? — сказала она, принимаясь снова тормошить девку, — столбняк нашел, что ли? Ну, чего смотришь как шальная какая?.. встань, говорят тебе... эх-ма! ишь как ревет, полоумная... словно махонькая какая... право-ну... Ах ты, дура, дура!.. вишь, как рубашку вымочила слезами-то своими глупыми... Пошла, просушись... скотина ты этакая... право-ну...

Акулина, очнувшись совершенно, вскочила с земли, закрыла лицо руками и как угорелая, качаясь из угла в угол, потащилась вон из избы.

Несколько дней спустя после этой сцены обыватели скотного двора заметили большую перемену в сиротке. «Что с ней? Эка расторопная вдруг стала! — говорили они, — отколе прыть взялась? словечка не вымолвит, а работает куды против прежнего, — словно приохотилась к делу». Они единогласно утверждали, что впрок пошли девке побои, что наконец-то обратили они ее на путь истинный. И действительно, что-то странное произошло во всем существе Акулины.

Действия и движения ее стали обозначать более сознания и обдуманности, нежели случайности; она

СОДЕРЖАНИЕ

Дервня. <i>Рассказ</i>	5
Антон-Горемыка. <i>Повесть</i>	87
Гуттаперчевый мальчик. <i>Рассказ</i>	225
Акробаты благотворительности. <i>Повесть</i>	282
Комментарии А. Степанов	448